

С. С. УВАРОВ И КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКОЕ ОБЩЕСТВО ИЛИ КРИЗИС «ОФИЦИАЛЬНОЙ НАРОДНОСТИ»

Взаимоотношения власти и общества в Николаевскую эпоху нельзя отнести к хорошо разработанной исследователями проблематике. До сих пор чувствуется инерция ограничительного подхода, свойственного не только советской, но и дореволюционной либеральной историографии, когда внутренняя политика представлялась хроникой усилий власти по борьбе с общественным движением, а под последним подразумевались только антиправительственные и антисамодержавные силы. Имперские традиции администрирования, социального управления, взаимодействие власти с просвещением, наукой, литературой привлекли научное внимание сравнительно недавно.

Что касается истории просвещения при Николае I, то оценки итогов школьного строительства, руководства наукой, регламентации литературы и публичной жизни не могут быть однозначными. С одной стороны, можно констатировать рост числа школ и высших учебных заведений, совершенствование преподавания, впечатляющие результаты государственного покровительства науке. С другой стороны, государственная опека в области просвещения проявляется в форме «жесточайшего контроля за духом и направлением преподавания»,¹ пронизывавшего практику Министерства народного просвещения. Выработка стратегической модели руководства просвещением и ее практическая реализация связаны с именем С. С. Уварова, в течение 16 лет (1833–1849) управлявшего министерством. Благодаря его теоретическим усилиям и административным талантам ведомство Уварова превратилось в «министерство идеологии», успешно совмещая выработку формулы государственной стабильности и воспитание молодого поколения в духе лояльности режиму. Фигура Уварова, в прошлом «либералиста» и «западника», писавшего и думавшего по-французски, и, между прочим, европейски признанного ученого, в роли главного идеолога царствования не выглядит случайной. Именно Уваров со свойственной ему гибкостью ума нашел и преподнес власти и обществу привлекательную формулу триединства («православие, самодержавие, народность»), на котором должны быть основаны не только прочность государственных институтов, но духовное и политическое здоровье общества. Власти, равно как и обществу, обеспокоенным в предшествующее десятилетие призраком «революционного хаоса», «развращения умов», напоминающим худшие времена якобинизма (в серьезности революционного заражения России наглядно убеждало «происшествие» 14 декабря) найденная Уваровым модель стабильности казалась надежным и, главное, глубоко национальным по форме ответом на исторический вызов времени.

Неоспоримо, что поиски официальной идеологии и ее использование отразили, может быть, как ни одна другая сфера государственной деятельности личные взгляды, установки Николая I, его представления об исторической судьбе самодержавия и культурной самобытности России. Кстати сказать, общепринятая периодизация николаевского царствования, внутренними рубежами которого стали 1830 и 1848 гг., осязаемо отражается в тех поправках и модификациях, которые претерпевала на исторических переломах, связанных с польским восстанием и европейскими революциями, теория «официальной народности». Не выдерживает критики точка зрения об исторической

обреченности этой «застывшей» и, как писалось, «мертвящей» доктрины, в прокрустово ложе которой надлежало укладывать всякую мысль, если автор не желал открытого противостояния с властью. Напротив, теория «официальной народности», видоизменяясь, во-первых, успешно соответствовала своему историческому назначению вплоть до конца 1840-х гг. и нарастания непреодолимых прежними методами кризисных явлений в политике; во-вторых, — и это главное — официальная идеология предлагала все же достаточно широкие рамки для развития общественности, литературы, исторической и философской мысли, а порой и ощутимо стимулировала это развитие.

А. Е. Пресняков когда-то весьма точно обозначил идейную основу внутренней и внешней политики Николая I как «казенный национализм».² Историк подчеркивал органичность совершенного Николаем I поворота в определении нового отношения России к Европе, который накладывал свой отпечаток не только на внешнеполитическую доктрину, но и на идеологическое обрамление внутренней политики. Однако в силу краткости своего очерка А. Е. Пресняков оставил в стороне вопрос о характере воздействия «казенного национализма» на общество, о неизбежных модификациях самой государственной доктрины, управлявшей сознанием современников на протяжении полутора десятилетий, ставшей привлекательным ориентиром для многих деятелей литературы и просвещения, наконец, о том, каким образом после длительного кризиса, завершившегося европейскими революциями 1848 г., исторически обреченная схема Уварова пережила стремительное и необратимое разрушение.

В царствование Николая, по наблюдению А. Е. Преснякова, «Россия и Европа сознательно противопоставлялись друг другу как два различных культурно-исторических мира, принципиально разные по основам их политического, религиозного, национального быта и характера».³ Конечно, попытки противопоставления всего европейского национальному мы обнаруживаем задолго до отыскания для официальной идеологии министром просвещения графом С. С. Уваровым доходчивой триединой формулы «православие, самодержавие, народность». Уже в манифесте, опубликованном по совершении казни и суда над декабристами 13 июля 1826 г., вполне отчетливо просматривалась новая националистическая парадигма. Дух мятежа и либерализма объявлялся здесь чуждым, наносным, проникшим с Запада и охватившим наиболее неустойчивую, воспитанную на западных же ценностях и впечатлениях молодежь. «Не в свойствах, не в нравах Русских был сей умысел, — говорилось в этом документе. — Составленный горстью извергов, он заразил ближайшее их сообщество, сердца развратные и мечтательность дерзновенную; но в десять лет злонамеренных усилий не проник и не мог проникнуть далее. Сердце России для него было и всегда будет неприступно».⁴ Авторы манифеста призывали в союзники общество, в массе своей отнюдь не ужаснувшееся факту казни пятерых «государственных преступников». Как писалось, вопреки истине, в этом документе, «зло» (т. е. декабризм) было укрощено свойственным русским подданным «единодушным соединением всех верных сынов отечества» вокруг законной власти.⁵ Далее в манифесте звучал закономерный призыв обратить особое внимание на воспитание юношества. Средство предотвращения «преступлений», подобных декабристскому выступлению, таким образом неразрывно связывалось со всемерным развитием начал «истинных», т. е. национальных, с опорой на собственные духовные ценности. В течение нескольких лет с 1826 г. до начала 1830-х гг. в правительственных сферах шел интенсивный поиск новых духовных опор, а главное, механизма внедрения их в общественное сознание, и людей, способных

возглавить этот процесс. Причем Николай I сразу же переводит эту работу из стадии «разоблачений» пагубных общественных явлений и «охоты на ведьм» в стадию конструктивную. Поэтому не имеют особого успеха многочисленные «соображения» доносительского толка об «иллюминатстве» и вольномыслии, исходившие от таких добровольных разоблачителей, как М. Л. Магницкий и Д. П. Рунич, архимандрит Фотий, а чисто полицейские средства борьбы с либеральным духом проходят отдельной строкой. Однако до назначения С. С. Уварова товарищем министра народного просвещения в марте 1832 г., а затем утверждения его в должности министра единство идейно-теоретических и административных усилий в сфере просвещения, народного образования, контроля за литературой и журналистикой не было достигнуто.

Функция С. С. Уварова как главного идеолога царствования определялась многими факторами, прежде всего острой потребностью подвести под складывающуюся систему военно-бюрократического управления органический и долговременный «нравственный» фундамент. Чувствуя эту потребность, С. С. Уваров, как никто другой, сумел ясно и законченно сформулировать основные задачи народного воспитания в «русском» духе, ставшие одновременно идеологическими рамками целого периода общественного и культурного развития. Действительно, впервые раскрывая смысл «краеугольных» понятий новой политики в сфере просвещения в своем отчете о ревизии Московского университета от 4 декабря 1832 г., Уваров по существу провозгласил законченную программу, рассчитанную на перспективу. Идейному ее содержанию соответствовала административная политика министерства.

Важно заметить, что средства, предложенные С. С. Уваровым в упомянутом отчете и последовательно им использованные, были совершенно противоположны репрессивным и ограничительным мерам, обрушившимся на российские университеты в последние годы александровского царствования. С. С. Уваров лучше других понимал невозможность сохранить в обстановке репрессий «здоровую школу» и подлинно научную атмосферу преподавания. В 1821 г. в должности попечителя Петербургского университета, в котором был обнаружен «дух безбожия и вольномыслия», он сам стал жертвой репрессий, а университет тогда надолго утратил значение центра науки и образования. Во второй раз — и уже навсегда — министра постигнет опала в связи с неспособностью созданной им системы цензуры и администрирования школы противостоять опасности проникновения революционных настроений в Россию. В 1849 г., когда напуганное европейскими событиями правительство обдумывает решение о закрытии всех русских университетов, Уваров, уже потерявший доверие и благосклонность монарха, оказывается в роли последнего защитника просвещения. «Неподобающее» поведение стоило Уварову отставки в сентябре 1849 г. и пошатнувшегося здоровья.

Однако еще за два года до этого сокрушительного фиаско министр столкнулся с враждебным его идеологической программе воспитанию в духе «народности» явлением, тем более опасным, что культурно-национальная его оболочка скрывала радикальные политические цели. Речь идет о Кирилло-Мефодиевском обществе, раскрытом III отделением в марте 1847 г. Просветительское по духу и организационно незрелое общество не внушило тогдашнему шефу жандармов А. Ф. Орлову большого беспокойства. 2 мая 1847 г. Орлов конфиденциально сообщает С. С. Уварову о результатах следствия и определенных участникам общества мерах наказания, которые были весьма незначительными для всех, исключая Т. Г. Шевченко.

Уже после объявления приговора Уваров по собственной инициативе составляет пространную записку на высочайшее имя, где разъясняет императору, как следует толковать случившееся и какие разрушительные силы кроются в идеях Кирилло-Мефодиевского братства. Записка получила название «О славянстве» и уже 8 мая 1847 г. легла на стол императора. Этот пространный документ можно считать актом запоздалого самоопределения Уварова как официального идеолога по «славянскому вопросу» и косвенным признанием допущенной им недооценки славянских культурно-национальных влияний на духовное единство российского общества.⁶ Эта записка не включена в трехтомный сборник документов «Кирилло-Мефодиевское общество» (Киев, 1990). Исследователи, в частности П. А. Зайончковский, не выделили ее из комплекса правительственных документов, возникших в ходе следствия. Так или иначе, ее значение в истории политики просвещения не оценено должным образом.

Что же так встревожило министра и заставило его настаивать на «примерном наказании» отступников? Прежде С. С. Уваров никогда не был сторонником полицейских мер борьбы с крамолой и не требовал репрессий ради репрессий. В национальном вопросе до той поры он оставался «мягким» русификатором окраин, надеясь, что свет просвещения и постанова публичного воспитания в «русском духе» сами по себе постепенно искоренят враждебный всему русскому «дух национальности». Несколько раз, правда, Уваров оказался, так сказать, впереди реакции, спровоцировав в 1834 г. закрытие журнала «Московский телеграф», а в 1836 г. расправу над П. Я. Чаадаевым, автором «Философических писем».⁷ Но многие деятели культуры продолжали воспринимать просвещенного министра как гаранта просвещенной политики. Так, Н. В. Гоголь писал А. С. Пушкину в декабре 1833 г., приветствуя министерское назначение Уварова, «Уваров собаку съел... Я уверен, что он у нас более сделает, чем Гизо во Франции»,⁸ имея в виду деятельность известного историка Ф. Гизо в Палате депутатов и кабинете министров во Франции в годы Июльской монархии. Действительно, Уваров считался одним из образованнейших людей в России, был наделен энергией администратора, искушен в тонкостях придворной интриги, имел за плечами политический опыт двух царствований. Он понимал, что «в нынешнем положении вещей и умов» куда полезнее не запретительные меры, а, по его образному выражению, «умственные плотины», пропускающие «свет чистой науки», но задерживающие, насколько это возможно, «вредную примесь идей политических».⁹ Собственно говоря, провозглашенная им доктрина «народности», или соответствия национальному (т. е. государственному) благу и народному духу, т. е. традиции, и должна была стать таким чудодейственным фильтром. Эта конструкция явилась не случайной находкой, а выросшим из общественных ожиданий и общественных разочарований предшествующего десятилетия откровением. Об отношении общества к смене идеологической парадигмы — от «европеизма», космополитических, надконфессиональных утопий александровского времени к требованию исконно русских, национальных оснований политики, просвещения, культуры — свидетельствует восклицание тогдашнего «властителя дум» — В. Г. Белинского: «Да! У нас скоро будет свое русское народное просвещение, мы скоро докажем, что не имеем нужды в чужой умственной опеке».¹⁰ Общество в целом приняло ту форму «национальной идеи», которая была найдена Уваровым. Последующие дискуссии западников и славянофилов, ставшие основным содержанием публичной жизни московских салонов, были допущены, потому что те и другие не посягали на настоящее: идеал славянофилов

обретался в прошлом, идеал западников был лишь гипотетически достижим в отдаленном будущем. Негативизм же П. Я. Чаадаева в отношении ценности национального культурного и политического опыта был наказан и осмеян.

Однако Уваров как опытный политик понимает, сколь ненадежны наложенные им на общественное воспитание и просвещение скрепы охранительства. А. В. Никитенко воспроизводит его пессимистическую, но не лишенную пафоса, речь, произнесенную перед цензорами в 1835 г.: «Мы, то есть люди XIX века, в затруднительном положении: мы живем среди бурь и волнений политических... Но Россия еще юна, девственна и не должна вкусить, по крайней мере теперь еще, сих кровавых тревог. Надобно продлить ее юность и тем временем воспитать ее. Вот моя политическая система... Мое дело не только блюсти за просвещением, но блюсти за духом поколения. Если мне удастся отодвинуть Россию на 50 лет от того, что готовят ей теории, то я исполню свой долг и умру спокойно. Вот моя теория, я надеюсь, что я это исполню».¹¹

Теория «народности» оказалась востребована потому, что ко времени оформления ее Уваровым в ряде программных записок поиски идеологического комплекса «русскости», формулы национального развития занимали уже не одно поколение русской интеллигенции. На волне патриотизма 1812 г. и борьбы с французским и вообще инонациональным засильем эта тема звучит в «спорах о языке» карамзинистов и «архаистов», в декабристской публицистике. Кстати, термин «народность», объединивший понятия «publique» (общественный) и «national» (национальный), бытовавшие во французском языке, впервые использовал П. А. Вяземский.¹² Уваровское понимание «русского духа» предвосхитил М. Н. Загоскин в «Рославлеве». А. С. Пушкин в июне 1831 г. в письме к А. Х. Бенкендорфу, откликаясь на потребность правительства в идеологах, предлагал свои услуги в качестве консервативного политического публициста. «Пора кончать революцию в России», — заявлял он, предполагая разъяснить публике своевременность действий правительства по воспитанию в обществе «твердых понятий».¹³ Не понимая пушкинскую фразу буквально, отметим ее конкретно-историческую и личностную обоснованность. В 1831 г. после Июльской революции во Франции и польского восстания аристократические и национальные чувства поэта, «шестисотлетнего» русского дворянина оказались серьезно задеты.

Теория «народности» как программа политического и национально-культурного развития имела глубокие философские источники, поскольку сам Уваров еще в начале 1810-х гг. на фоне увлечения теориями Гердера, Лудена, В. Шлегеля связывал культурно-национальное своеобразие с историческим бытием народа.¹⁴ Роль истории для выработки «национального характера» и гармоничного взаимодействия власти и народа была показана Уваровым в специальном сочинении, изданном тогда, когда право истории называться наукой еще ставилось под сомнение.¹⁵ Преподаватель истории должен, как он писал, «возбуждать и сохранять, сколько можно, народный дух... Сие правило должно особенно быть чтимо преподающим историю. Он в сем отношении делается орудием правительственных намерений».¹⁶ В этом смысле едва ли не единственным прямым предшественником Уварова в его апелляции к возможностям истории выступает Н. М. Карамзин, с его эмоциональным призывом предохранить от разрушения самодержавие как не политическую только, но духовно-национальную основу бытия русского народа.¹⁷ Также Карамзин постоянно подчеркивает своеобразие русской истории в отличие от истории Европы и прямую политическую пользу от ее усвоения.

Таким образом, «теория народности», родившаяся в начале 1830-х гг., с которой надлежало согласовать дух литературы, содержание преподавания, рамки допускаемых общественных дискуссий, воспринималась органично. Однако программа воспитания и образования, основанная на уваровской схеме (а не сама схема!) стала естественным ограничителем общественной самодеятельности. Конфликт между уваровским министерством, которое возложило на себя функции министерства идеологии, и обществом должен был нарастать в силу невозможности вписать общественные дискуссии последующих лет в однажды найденные рамки. С другой стороны, правительство Николая I со временем охладело к идеологическим формам воздействия на общество, убедившись в их слабой эффективности. В начале 1840-х гг. дискуссии в духе «народности» начинают явно приглушаться, поскольку в них все меньшим авторитетом пользуется официальная сторона.

В связи с уроками польского восстания 1830-1831 гг. Уварову удалось в короткий срок дать новое направление народному образованию в крае, согласное с духом «народности», не подавляя при этом духа «национальности». Установкой министерства стало внедрение закрытых учебных заведений на всех уровнях обучения с одновременным ограничением частного и пансионного образования. Польский язык в преподавании сохранился – однако с помощью мягкой лингвистической экспансии в следующее десятилетие он был почти полностью вытеснен из преподавания отчасти потому, что в состав преподавателей внедрялись неполяки.¹⁸ Сохранив кадры лояльных профессоров и материальную базу репрессированных после польского восстания Варшавского и Виленского университетов, Уваров открывает новый университет в «первопрестольном» и полурусском Киеве, рассматривая Киевский университет св. Владимира как «умственную крепость, воздвигнутую вблизи военной»¹⁹ (т. е. Варшавской цитадели, орудия которой были обращены на мятежный город). Киевский университет, в котором польская профессура и польская молодежь так и не стали доминирующей национальной группой, воспринимался как проводник духа «русской народности» наименее болезненными для населения окраин средствами. Уварову приходилось убеждать правительство отказаться от насильственного подавления поляков и наиболее репрессивных мер, как например, запрещение молодежи выезжать за границу или введение ограничений при вступлении в службу вне Царства Польского. Приходилось доказывать, что «воспитание не есть полицейская мера»,²⁰ и в то же время рекомендовать полякам забыть о национальном унижении. Для облегчения последней задачи воспитательные усилия предполагалось сосредоточить на «юношестве», отделив его от старшего поколения и изолировав в стенах закрытых учебных заведений: кадетских корпусов, гимназий, устроенных по образцу благородных пансионов, закрытых уездных училищ. Целью образовательной политики в западных губерниях было провозглашено «слияние русского и польского начал с надлежащим перевесом русского».²¹

Следование программе «мягкой русификации» в Западном крае и Царстве Польском не дало быстрых результатов, столь же медленно протекала культурная «русификация» Остзейских губерний и Малороссии. В какой-то момент Уварову показалось, что поставленная им цель «развить русскую национальность на истинных ее началах и тем поставить ее центром государственного быта и нравственной образованности» почти достигнута. Он гордился тем, что национальное сближение, «этот огромный перелом в мыслях, обычаях, чувствах... не требовал в пределах министерства ни одной жертвы,

что если в роковую минуту пострадало несколько юношей, то никакое подозрение не пало на наставников, ... и что последние плевелы уже исторгнуты из почвы, столь долго для нас неприступной».²² Так писал министр в 1843 г., подводя итог десятилетнему опыту администрирования. Увы! — «плевелы» польского сепаратизма не только не были «исторгнуты», но спровоцировали рождение украинского национализма. С другой стороны, в начале 1840-х гг. с уваровской формулой национального единства как условия политического спокойствия и культурного процветания империи стал опасно конкурировать «славянский вопрос» в двух его разновидностях: московского славянофильства и панславизма — идеологии, занесенной из Чехии, Словакии, Болгарии и приобретшей своих приверженцев в России. В спорах о праве славянских народов на политическое существование как условия национального возрождения виделся крах многолетних усилий по установлению духовного единства всех подданных русского императора, которое определялось усредненной «русскостью», не имевшей признаков национального. На почве «славянства», противопоставленного «русскости», вззошли ростки украинского сепаратизма.

С. С. Уваров запоздал с определением своего отношения к славянской идее да, вероятно, и не мог найти точек соприкосновения теории о возможности «национально-государственного» единства на основе господствующей культуры и учения о культурном многообразии славянских народов, расцвет каждого из которых достигим при условии обретения национальной государственности. Тем более сильным потрясением стала для него развернутая в документах Кирилло-Мефодиевского общества аргументация исторической и культурной самобытности малороссов.

Какую бы позицию по отношению к заговорщикам Уваров ни занял, это уже не могло изменить их судьбы: его записка была подана через несколько дней после завершения дела. Уваров по существу воспользовался этим случаем как поводом к тому, чтобы еще раз защитить перед Николаем I уже сильно полинявшую «теорию народности». Именно в этом, как представляется, был главный мотив его откровенно реакционного выпада в адрес «заговорщиков» и идей общества.

В литературе высказывалась мысль о том, что Уваров, лично близкий к М. П. Погодину, разделял не только его взгляды на русскую историю, но и его панславистские иллюзии.²³ М. П. Погодин не скрывал своего панславизма, особенно после двукратной поездки по Европе. Тогда он обратился к министру просвещения с призывом отбросить условности и взять «взывающих о помощи» западных славян (чехов, словаков, болгар, поляков в том числе) под покровительство хотя бы в области национальных культур, науки и просвещения.²⁴ Этот призыв отклика не имел. Наоборот, будучи в начале 1842 г. в Праге и Вене, Уваров, по его собственному заверению, высказался против политических надежд западных славян на помощь России и против панславизма вообще.²⁵ Не будучи столь ревностным, как Погодин, приверженцем идеи о русской национальной исключительности, министр был серьезно обеспокоен тем, что в итоге такого культурно-национального сближения пострадает именно «русское начало». Попытка усиления политического влияния России среди западных славян не имела в его глазах (как и в глазах Николая I) никакого политического смысла, но могла создать препятствия для дальнейшей реализации его программы просвещения соотечественников под знаком «народности» в силу того, что усиление культурных связей с западным славянством неизбежно размывало прерогативы «русского духа» и русской культуры среди признанных

духовных ценностей. Негативное отношение к этой перспективе Уваров высказывает в своей записке «О славянстве». Утверждения его категоричны. Нужно вести речь, убеждает он, о двух разновидностях славянства: «Одно русское, другое нам неприязненное». Первое, собственно, не «славянство», а «русский дух», т. е. свойственное русским культурно-национально-государственное своеобразие, «тот краеугольный камень, на коем твердо пятою стоят трон и алтарь». Русское «славянство», продолжает Уваров, «одушевлено приверженностью к православию и самодержавию; все, что выходит из этой черты, не принадлежит к этому славянству: оно или примесь чужих понятий, или игра фантазии, или, наконец, личина, под которой злоумышленники стараются уловить незрелых юношей».²⁶ В замыслах обвиняемых «слово славянство служило только недобросовестною завесою, под коей скрывались иные мысли, готовые принять и всякую другую форму».²⁷ Уваров настаивает на том, что идея объединения славянских народов внутренне чужда националистической, украинофильской по духу и сепаратистской по своим политическим целям программе Кирилло-Мефодиевского общества. Доказательства господствующего «украинофильского воззрения» автор записки находит в программной статье «Закон Божий», навеянной польскими и французскими националистическими и мистическими писателями (Мицкевичем, Ламенне), опозитизировавшей историческую древность, быт и нравы милого сердцу авторов Малороссийского края, страдающего «в его мнимом угнетении».²⁸ Уваров противопоставляет националистическую идею, возросшую в кружке киевской молодежи, как официальной «русской» идее, так и идее славянского единения. Он доказывает, что здесь, «наперекор господствующему славянскому направлению, мы видим следы какого-то сильного стремления провинциального духа к разъединению, когда, напротив, славянство, не ставя в счет ни географические, ни политические препятствия, неуклонно хочет соединения всех частей в одно, уничтожения всякого провинциального духа, слияния всех местных патриотизмов в один общий патриотизм, сосредоточение всех сил в руках одного вождя и в недрах одной Церкви».²⁹

Предостерегая от опасности сепаратизма, исходящего из «невинных» культурнических увлечений ученой молодежи, и, скорее, выдавая желаемое за действительное, Уваров считает, что идеи кирилло-мефодиевцев не найдут поддержки не только в официальных кругах. «Осмеливаюсь утверждать, — пишет он, — что ни один восторженный, добродушный московский славянофил... по своим понятиям не согласился бы вступить в тайный союз, цель которого была бы раздробление России или отделение одной или нескольких ветвей от корня обожаемого им всеславянского единства».³⁰ Министерство сделало столько усилий, следуя программе возбуждения и укрепления «духа отечественного» в современниках, побуждая обращаться в том числе «к источникам оного»: славянским древностям, языку и истории, что только незнанием общего корня и родства великорусского и малороссийского народов можно объяснить пробуждение «провинциального духа» или «отголоска украинских предрассудков».

С. С. Уваров совсем не стремится обвинить малороссов в природном сепаратизме. Романтизация времен сечевых вольностей и гетманства дает пищу литературе, но не представляет опасности, пытается он убедить читателя записки. «Малороссия, верная престолу, непоколебимая в вере, действительно, в своих воспоминаниях хранит мысль о прошедшем; она на досуге жалеет о минувшей самобытности, о своем Гетмане, о разгульном казачестве, об обращении в крепостное право вольных ее жителей, может быть,

об утрате вольной продажи горелки, но нельзя украинскому духу ставить в вину преступные замыслы нескольких безумцев, с коими, без сомнения, ни высшие сословия, ни туземное духовенство, еще менее неисчислимое большинство мирных и покорных жителей не имеют ничего общего. Дух малороссийский не причастен никакого кровавого замысла; если он дорожит своей минувшей историей, то разделяет это чувство со всеми известными племенами, кои по ходу вещей слились с сильным племенем, потеряли свое отдельное значение. Легко молодым, неопытным умам плениться поэтическим этим воззрением и увлечь себя и других далее черты благоразумия», но в массе своей, убеждает Уваров, жители края никогда не дадут повода обвинить их в неверности престолу.³¹ Идеи политического сепаратизма, стремится подчеркнуть Уваров, на украинскую почву могли упасть только извне: от соседей-поляков, свою подрывную работу здесь наверняка совершил «мятежный дух польский». А «украинские предрассудки» можно простить, ибо они никогда не вызовут у малоросса желания отделиться от России. Если что-то довело до опасных политических требований зачинщиков Кирилло-Мефодиевского общества, то это внешние политические влияния. Но они тем более виновны, по убеждению Уварова, что сыграли на «сокровеннейших» национальных предрассудках.³²

Откуда в Уварове при неприятии западного «славянства» и подозрениях его в подрывных влияниях на Украине, такое снисхождение к «украинским предрассудкам»? Понятно, что украинский сепаратизм для русского правительства был менее опасен, чем польский, в силу своей патриархальности. Крестьяне-малороссы отразили свои мечтания о национальной государственности в «думах», преданиях о сечевой вольности, которые сами по себе не являлись политическими проектами, но были связаны с неопределенными очертаниями «казацкой республики» и ее славных преданий в романтическом сознании малоросса. Польское же дворянство, удерживая основные шляхетские права и привилегии, в том числе право владеть крестьянами, требовало вернуть «незаконно» отнятое право жить в национальном государстве.

Замеченные у Уварова этнографическая точность и лиризм в описании атрибутов «малороссийского духа» не случайны. Не придавая этому факту исключительного значения, вспомним пикантную подробность уваровской родословной. Министр, вельможа, впоследствии русский граф Сергей (он подписывался Сергій) Семенович Уваров подлинными аристократами по рождению (тем же Пушкиным) воспринимался как выскочка. Дело в том, что отец С. С. Уварова попал «в случай» и стал полковником лейб-гвардии Гренадерского полка главным образом потому, что умел развлечь двор Екатерины II искусством народных плясок и игрой на украинской бандуре. Прозванный за неосновательность «Сеней-бандуристом»,³³ Семен Федорович, умирая, не оставил малолетнему сыну ничего, кроме долгов. Таким образом, С. С. Уваров был малороссом по отцу, к тому же женатым на внучке последнего украинского гетмана Е. А. Разумовской.

Несмотря на то, что III Отделение уже вынесло свое заключение, находя, что «Украино-славянское общество ... не более как ученый бред трех молодых людей»,³⁴ Уваров настаивает на ином мнении. Он чувствует, что в любой разновидности идеи «славянства» расшатывают его концепцию «триединства» (православие, самодержавие, народность), в которой «народность» не может быть иной, кроме русской. Если допустить право иной славянской национальности, кроме русской, на культурную и политическую автономию в пределах России — Россия погибла! Уваров объявляет, что Кирилло-

Мефодиевское общество «пропитано идеями политическими», в то время как «славянству русскому чужда всякая примесь политических идей». ³⁵ Эта фраза будет повторена в циркулярном письме на имя начальников учебных округов, разосланном в связи с делом Кирилло-Мефодиевского общества. В послесловии к своей записке Уваров испрашивает разрешения время от времени представлять свои соображения по «славянскому вопросу», особенно ввиду ожидаемых за границей откликов на дело Кирилло-Мефодиевского общества. Необходимой мерой министр также считал ревизию Московского, Харьковского и Киевского университетов и других учебных заведений этих округов, в которую предполагал отправиться сам во второй половине лета. ³⁶

В течение последующих дней Уваров оформляет положения, изложенные в записке, адресованной императору, в отношении министра попечителям учебных округов, где понятие славянской идеи и национального сепаратизма разграничены и определены точнее, а также указано на то, каким мерам предосторожности надо следовать, чтобы не дать увлечься молодежи блестящими химерами. ³⁷

27 мая 1847 г. появляется министерский циркуляр, особый для каждого округа, на месте дополняемый и корректируемый. Неравная строгость предостережений, адресованных попечителям округов, очевидно, объяснялась различной долей польской молодежи в училищах того или иного округа. Так, попечителю Киевского округа Уваров предполагал «поставить на вид, что под личиною Славянства может скрывается мятежный дух польский, готовый уловить умы неопытного юношества», а попечителю Харьковского округа собирался лишь «указать слегка на провинциальный дух, который мог бы увлечь далее черты благоразумия, вопреки общего доброго направления умов туземных». ³⁸ Если вспомнить, что питомцами именно Харьковского университета были Н. И. Костомаров и П. А. Кулиш, то ясно, что в «направлении преподавания» здесь и в самом увлечении украинской историей и культурой было официально решено не усматривать крамолы. Попечителю Варшавского и Дерптского округа, кстати, о «славянском вопросе» вообще не поступило никаких разъяснений.

Казалось бы, авторитет государственной идеологии не мог ослабеть, оттого что ее творцу потребовалось конкретизировать свое отношение к комплексу идей украинской «народности», столь близкой к господствующей «русской». Однако поспешность изготовления и мелочный характер всех документов, составленных вслед за извещением о содержании «заговора братчиков», выдают не только осторожность, но и растерянность властей. Майский циркуляр министра в отличие от официальных разъяснений содержания понятия «народность», данных десятилетием ранее, стал «полуогласительным», т. е. не только не читался перед студентами с кафедр, но лишь избирательно разъяснялся некоторым цензорам и членам ученых обществ, «в круг занятий которых входят преимущественно словесность и история отечественная». ³⁹ В циркуляре, как можно заметить, прежняя официальная формула «народности» потеряла свои размытые очертания и зазвучала гораздо жестче, теперь она действительно выступила как голая апология российского самодержавия: «Народность наша состоит в беспредельной преданности и повиновении самодержавию, а славянство западное не должно возбуждать в нас никакого сочувствия. Оно само по себе, мы сами по себе. Мы сим торжественно от него отрекаемся». ⁴⁰

Собственно при этих словах и в этот час закатилось солнце «теории народности», переставшей быть залогом незыблемости государственных форм, который был отыскан

в национальном характере и культуре. Теперь государственный порядок силится утверждать себя, ни на что, кроме себя самого, не опираясь. Уваровская «ученость» и виртуозность идеолога переставали быть нужными. Перед лицом европейских потрясений 1848 г. обнаружилось, что та духовно-политическая изоляция России, о спасительности которой так долго твердил Уваров, оказалась абсолютно проницаемой для радикальных идей.

Все, что было сказано Уваровым в осуждение идей Кирилло-Мефодиевского общества, выдает в нем не последовательного просветителя, не «мягкого русификатора», каким он предстает в других ситуациях, а Уварова — апологета государственной доктрины перед лицом ее откровенной девальвации.

Как известно, стержнем государственной идеологии было положение о необходимости всемерного развития «истинно русских начал» путем воспитания через литературу и систему просвещения в соотечественниках русских патриотов — носителей «народного» духа. В рассмотренном инциденте проявилась неспособность объединительной «русской идеи» противостоять идее национальной украинской культуры и независимости, провозглашенной Кирилло-Мефодиевским братством. Исходя из этого Уваров предлагал ужесточить рамки официальной идеологии, однако его усилия не спасают ее от девальвации: после 1848 г. теория «официальной народности» сходит со сцены вместе с ее творцом.

Ни «добропорядочное» московское славянофильство, ни набиравшая приверженцев доктрина панславизма, ни даже польский мятежный сепаратизм не нанесли такого удара официальной доктрине, как дело Кирилло-Мефодиевского общества. И хотя «мирный» характер украинских мечтаний о самостоятельности Уваров постоянно подчеркивал, но сам он наверняка понимал, что, имея в тылу теоретиков «украинской» народности, сложно убедить малороссов в единстве их национального духа с «москалями». А значит, и прежний тезис о монолите «русской» народности как главной опоре порядка требовал существенного подновления. Подновление это означало изменение в определении содержания «русскости», и последняя превратилась в верноподданство и великодержавный монархизм, который теперь требовался от соотечественников без различия этнической и сословной принадлежности. Т. е. это была уже не «национальная идея», на которую общество уповало в начале 1830-х гг., а идея монархическая, привлекательная лишь для династии и бюрократической элиты. Это фактически означало кризис идеологии николаевского царствования и преддверие политического кризиса, довершенного через несколько лет Восточной войной.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Полиевктов М. А.* Николай I: Биография и обзор царствования. М., 1918. С. 237.

² *Пресняков А. Е.* Апогей самодержавия. Николай I // *Российские самодержцы.* М., 1991. С. 268.

³ Там же. С. 268.

⁴ Высочайший манифест о совершении казни над государственными преступниками. Подписано в Царском селе 13 июля 1826 г.:

Российский государственный исторический архив (далее — РГИА). Ф. 1329. Оп. 1. Д. 439. Л. 492 об.

⁵ Там же. Л. 493–493 об.

⁶ РГИА. Ф. 735: Канцелярия министра народного просвещения. Оп. 10. Д. 193. Л. 12–34.

⁷ *Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И.* «Сквозь умственные плотины...»: Очерки о книгах и прессе пушкинской поры. М., 1986.

⁸ Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 16 т. Т. 10: Письма. М.; Л., 1940. С. 290.

⁹ Из отчета о ревизии Московского университета от 4 декабря 1832 г. Цит. по: Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. М., 1891. Т. 4. С. 83–85

¹⁰ Белинский В. Г. Литературные мечтания // Белинский В. Г. Собр. соч.: В 13 т. Т. 1. С. 88.

¹¹ Никитенко А. В. Дневник. М., 1955. Т. 1. С. 174.

¹² См.: Письмо П. А. Вяземского к А. И. Тургеневу 22 ноября 1811 г. // Остафьевский архив. М., 1899. Т. 1. С. 357.

¹³ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 10. С. 123.

¹⁴ Эта проблема хорошо разработана А. Л. Зориным. См.: Зорин А. Л. 1) Теория официальной народности и ее немецкие источники // В раздумьях о России. XIX век. М., 1997. С. 112–148; 2) «Кормя двуглавого орла: Власть и русская литература в XVIII — первой половине XIX в. М., 2000.

¹⁵ См.: Уваров С. С. О преподавании истории применительно к народному воспитанию. СПб., 1813.

¹⁶ Там же. С. 2, 24.

¹⁷ Речь идет о знаменитой формуле Карамзина «самодержавие — есть палладиум России...», которую историк защищает в записке «О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношении» (1811).

¹⁸ Десятилетие министерства народного просвещения (1833–1843). Записка, представленная государю императору Николаю Павловичу ми-

нистром народного просвещения графом Уваровым в 1843 г. Этот текст был возвращен с собственноручною надписью императора: «Читал с удовольствием». СПб., 1864. С. 38–40, 125–127.

¹⁹ Там же. С. 129–130.

²⁰ Там же. С. 127.

²¹ Там же. С. 36.

²² Там же. С. 46–47.

²³ Дьяков В. А. Славянский вопрос в общественной жизни дореволюционной России. М., 1993. С. 12–14.

²⁴ Погодин М. П. Два письма министру народного просвещения // Рус. беседа. 1861. № 7. С. 234.

²⁵ РГИА. Ф. 735. Оп. 10. Д. 193. Л. 17 об.–18.

²⁶ Там же. Л. 20–21 об.

²⁷ Там же. Л. 21 об.

²⁸ Там же. Л. 22–22 об.

²⁹ Там же. Л. 22 об.

³⁰ Там же. Л. 23.

³¹ Там же. Л. 29–30.

³² Там же. Л. 30 об.–31 об.

³³ Вигель Ф. Ф. Записки. М., 2000. С. 338.

³⁴ Зайончковский П. А. Кирилло-Мефодиевское общество. М., 1952. С. 130–131.

³⁵ РГИА. Ф. 735. Оп. 10. Д. 193. Л. 22–22 об.

³⁶ Там же. Л. 33–33 об.

³⁷ Там же. Д. 193. Л. 38–60. Опубл.: Рус. архив. 1892. Вып. 7. С. 334–359.

³⁸ РГИА. Ф. 735. Д. 193. Л. 38 об.–39 об.

³⁹ Рус. архив. 1892. Кн. 2. Вып. 7. С. 348.

⁴⁰ РГИА. Ф. 735. Оп. 10. Д. 193. Л. 37. Дьяков В. А. Славянский вопрос... С. 40–41.

А. А. Кононов

К ИСТОРИИ ПЕРЕВОДА И ИЗДАНИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ЗАПИСОК Н. А. САБЛУКОВА

Среди мемуарных текстов, посвященных царствованию императора Павла I, особое место принадлежит запискам Н. А. Саблукова. Сегодня едва ли есть необходимость доказывать значимость этих мемуаров как исторического источника. И хотя не все согласятся с мнением современного исследователя, утверждающего: «Общепризнанно, что записки Н. А. Саблукова являются едва ли не самым объективным свидетельством